

Владимир Кораблинов родился 31 июля 1906 года в недалеком от Воронежа Углянце — селе, известном еще со времен Петровского корабельного строения. Отец, священник в местной церкви, был образованным человеком. В доме имелась добротная библиотека, и мальчик рано пристрастился к чтению. С малых лет проявилась в нем тяга и к сочинению стихов, и к рисованию. Учился в гимназии, в Воронежских художественных мастерских. Брал уроки у известного живописца Бучкури.

В двадцатые годы будущий писатель начинает публиковаться в местной и столичной периодике. Бывает в Москве, встречается с Платоновым, Новиковым, Пильняком, Новиковым-Прибоем, Воронским. В 1927 году Маяковский, после приезда в Воронеж, печатает в «Новом лефе» отрывки из кораблиновской поэмы о декабристах.

В 1931 году, в апрельскую ночь, Кораблинова, художника издательства «Коммуна», арестовали и доставили во внутреннюю тюрьму ОГПУ. Ему и нескольким его друзьям и знакомым предъявили обвинение в антисоветской деятельности. В тюрьме он оказался в одной камере с Путинцевым, основателем литературного музея имени И.С. Никитина, известным ученым-фольклористом, проходившим по «делу краеведов». Большой знаток и почитатель творчества народных поэтов России — уроженцев Воронежа, Путинцев усилил и углубил в молодом сокамернике историко-литера-

турный интерес к родному краю. Он в известной мере и подвигнул Кораблинова на замысел романа «Жизнь Кольцова», воплощенный лишь через четверть века...

Сорок первого по сорок пятый годы, за вычетом эвакуационных месяцев, приют семье Кораблиновых дает Борисоглебск. В авиационном училище художник еженедельно выпускает «Таран» — насыщенное военной тематикой «окно сатиры».

После войны Кораблинов перебирается с семьей ближе к Воронежу. Живет в Графской. Ежедневно ездит в город, где он сначала — художник областного книжного издательства, затем — газеты «Коммуна», наконец — «Молодого коммунара».

Молодежную редакцию вскоре возглавил Борис Стукалин, будущий подвижник журналистского, издательского, литературного дела в стране, министр печати СССР, государственный и общественный деятель, который пригласил в редакцию даровитых молодых. Владимир Александрович становится подлинно центром притяжения. Василий Песков, Алексей Прасолов, Анатолий Жигулин, сотрудники редакции и ее гости — все тянулись к нему. Как на огонек в ненастную ночь. В чем заключалась тайна его притягательности? Литературная молодежь тянулась к Личности, в которой счастливо, органично соединялось и человеческое, и писательское. Широта души и энциклопедическая глубина познаний. Искренность и естественность во всем.



Владимир Кораблинов (в центре) с молодыми поэтами Романом Харитоновым, Олегом Шевченко, Эдуардом Пашневым, Анатолием Жигулиным. 1961 г.

«Человеком-университетом» назвал его знаменитый писатель-эколог, публицист В.М. Песков в одном из очерков о начале своего журналистского пути. Благодарственно и тепло вспоминает о нем (и не только как об авторитетном и опытном газетчике, тонком ценителе и знатоке литературы, человеке, обладавшем безупречным литературным вкусом и житейской мудростью) Б.И. Стукалин в замечательной книге воспоминаний «Годы, дороги, лица».

После романа о Кольцове, изданного в 1956 году столичной «Молодой гвардией» и неоднократно затем переизданного, жизнь Кораблинова обретает житейскую и творческую устойчивость. У него статус профессионального писателя, квартира в Воронеже. Оставлена долго длившаяся газетная поденщина. Год за годом выходят в свет его книги. О выдающихся событиях на Воронежской земле. О великих земляках.

Однажды, в беседе с молодыми прозаиками, Кораблинов поведал о том, как рождался роман «Жизнь Кольцова». В послевоенном пригородном поезде всякий будний день, поутру и на ночь глядя, добирался он из Графской в Воронеж и обратно. Под колоннадное

мелькание мачтовой вознесенности сосен заповедного Усманского бора хорошо думалось, зримые и мысленные картины, исторические вехи, имена, подчас самые неожиданные, шли прихотливой чередой. В осенний вечер, когда электричка невесть почему надолго остановилась в глубине леса, «явился» поэт-прапол. С такой очевидностью характера, песенной души, поступков и даже «подсказывающими» речами — что оставалось только сесть за письменный стол.

Тайны творчества необъяснимы. Что дает импульс к написанию книги? По рассказу Владимира Александровича выходило, что и разлив сосен с редкими свечами берез, и девушка, одиноко уходящая по тропинке в лес, и белый косяк стригунков у тиховодной речки, и далекая степь, и старинные воронежские улочки... Отсюда, от речки Усмань, от сосен да берез, росших за околицею, да от несправедливо-красивого слова углянских жителей, берегших и творивших живую русскую речь, от их трудных судеб — и слово писателя, его замечательные книги о родном крае, столь значимом для Руси и России.

Виктор БУДАКОВ

На реке Воронеже, по крутым зеленым холмам раскинулось древнее село Чертовицкое, а по краям его — две горы.

Лет двести, а то и триста назад на одной из них жил боярский сын Гаврила Чертовкин. Много позднее на другой горе, версты на полторы повыше чертовкиной вотчины, обосновался лесной промышленник по фамилии Барков. Ни тот, ни другой ничем замечательны не были: Чертовкин дармоедничал на мужицком хребту, Барков плоты вязал, но горы, на которых жили эти люди, так с тех давних пор и назывались по ним: одна — Чертовкина, а другая — Баркова.

Обе они лысы, обрывисты обе, с каждым весенним половодьем помаленьку в реку обваливаются. Баркова гора — белая, песчаная, с голубой глиной у подножия; срез у нее словно ножом отхвачен, гладкий, но слоеный какой-то, полосатый, а Чертовкина — та вся глиняная, рыжая, изгрызенная обвалами.

Между горами — цепочкой по холмам — избы, зеленые гривки садов, старое, разгороженное кладбище, где среди покосившихся крестов бродит белая коза, где заросли пахучей полыни над безымянными могилами и, похожая на развеселую пляшущую бабу, растрепанная ветрами ветла...

Горы, холмы, сады, избы длинной чередой вытянулись вдоль реки, и сверху над всей этой красотой — просторное небо, то высокое, синее, с лебедиными стаями белоснежных облаков, то низкое, с грозowymi тучами, серое в осеннее ненастье, как небелый холст. А внизу — река, и в ней то же небо, и кажется, будто село со всеми его холмами, с его глинистыми и песчаными обрывами повисло в воздухе. И все это такое наше, русское, милое, нежную любовь к чему мы несем в себе с детских лет.

Река виляет туда и сюда, каждый ее поворот — это как новая страница в великой книге природы. Вот вода сделалась красноватой, — тут у нее древесный настой, потому что река длинным заливом уходит в черноту ольхового леса. Вот на самой глубине стоят три старые ольшины по пояс в воде. Как они очутились здесь? Да очень просто: весеннее половодье подшутило! Вот огромный косяк горы обвалился, точно кусок пирога, ополз вниз на белую песчаную гладь — вместе с деревьями, травой, цветами иван-чая и конского щавеля... И уже костер дымится на оползне, разбита палатка, и зеленая лодочка покачивается у нового берега. Вот, наконец, старуха осина, подгрызенная бобром: стоит, не падает, видать, что-то помешало бобру доконать ее, и теперь дожидается она хорошего ветра, чтобы рухнуть в тихую воду, медленно набухая, утонуть, обрасти зеленой бородой водорослей и сделаться местом летней стоянки ярких, полосатых окуней.

Над самым селом весной и осенью пролетают дикие утки, ночуют в затонах, а то даже и возле крайних изб; часто подсаживаются к домашним уткам, и что за крик, что за тревогу поднимают тогда на реке домашние! Древний дух кочевья, видимо, просыпается в них. Бывает иной раз, что какая-то и не утерпит, увяжется за дикими, да куда ей: тяжела, неподъемиста, пролетит над самой водой вслед за дикими метров двести и, обессилев, тяжело плюхнется на воду, и до чего же кричит, до чего же тоскует по улетевшим! А те уже высоко над Чертовкиной горой и все выше, все выше забирают, только крылья посвистывают...

Плывет на черном челночке Харитоныч — искуснейший рыболов и лодочный мастер, человек слабосильный, крохотный, но как легко, как шибко бежит по воде чертовицкий челночок! Задрав кверху голову, глядит Харитоныч на улетающую стаю, посмеивается над домашней уткой. «Не берись, не умеючи, — приговаривает, — всякое дело, брат ты мой, превзойти надо...»

Харитоныч любит потолковать о мастерстве. Он сам — мастер. Он с презрительной усмешкой глядит на приезжего дачника, на его дорогие складные удильни-

ками, оснащенные замысловатыми катушками, фарфоровыми кольцами, пробковыми рукоятками. Все это блестит, поражает яркостью и дороговизной, но... все это, как говорит Харитоныч, «не в руках и без разума». Сядет такой рыболов со своей великолепной снастью, да и просидит без толку целый день. В садке у него — с десяток мелких плотвичек, плохонькие окуньки, калинки, чепуха, одним словом. А Харитоныч тут же, рядом, отсидит со своим ореховым хлыстом зорю, и у него на кукане пара отличных судаков, похожая на старое березовое полено щука, а уж если окуни, так один к одному — полукилограммовые красавцы, не окуни — тигры... Что за оказия? Почему так получается?

Превзойти надо, вот в чем дело.

Споро, шибко бежит Харитонычев челночок, и нет на всей реке этой лодочке равных по легкости и послушности и даже по красоте. Харитонычевы лодки далеко славятся по округе, самое село тем прославляя. «Чертовичский челнок» — название старинное и само за себя говорит. Настоящий охотник не на чем-нибудь плавает, а именно на чертовичском челноке.

Неужто ж иных мастеров нет, кроме старика Харитоныча? Как не быть, есть, конечно, да все — не такие. Так в чем же дело? Да опять-таки в том, что *превзойти надо!*

Но что особенно хорошо в Чертовичском — это какая-то нетронутость, чистота в природе. Ведь до города — рукой подать, ночью в юго-западной стороне стоит зарево от воронежских огней, видны красные глазки телевизионной башни, московское шоссе рядом, а тут преспокойно пасется олений табунчик; оленихи и телята не спеша подбирают под дикими яблонями опавшие, хваченные первыми заморозком яблоки, а рогач вожак замер на песчаной круче, неподвижно, как статуя, стоит, провожает печальными глазами медленно ползущий на течение грузовой катер «Перекат» и длинный, тянущийся за ним караван неуклюжих черных барж.

Как-то раз поставили мы палатку в лесу у Нигочевского затона, хорошо расположились: рюкзаки, одежду развесили на деревьях, а ведра два картошки высыпали прямо в траву, у костра. Дело к вечеру, сидим, кашу варим. Подходит к нам лесник, — он тут неподалеку старый квартальный столб на новый заменял, — ну, закуриваем, конечно, разговор о том о сем — о рыбе, о погоде, о браконьерах. Вот уж и совсем смерклось, стал наш гость собираться, пожелал счастливой зари и совсем было распрощался, да вдруг увидел нашу картошку и говорит, посмеивается:

— Картошку-то в палатку приберите или на дубок, что ли, подвесьте, а то как бы без харчей не остались...

— Это, — спрашиваем, — как же понять?

— А так, что аккурат в этом месте кабаниха с поросятами ходит. Набредут на вашу картошку — потуда вы ее и видели... Ну, счастливо оставаться, пойду, — сказал, поглядев на ручные часы, — а то как бы к передаче не опоздать: нынче по телевизору «Тихий Дон», вторую серию показывают...

То-то мы, еще когда палатку ставили, заметили, что земля под дубами словно бы вспахана, вся изрыта: это, оказывается, кабаниха орудовала.

Картошку, разумеется, по совету лесника мы прибрали, завалились спать и спали крепко, ничего не слышали. А утром глядим — возле костра все взрыто, переворочено... Значит, приходила-таки!

Там же, в Чертовичском, одна женщина мне рассказывала, как ходила она за сахаром на Кожевников кордон, в ларек, и как к ней на обратном пути привязался енот.

— Бежит и бежит, чисто собака, что ты с ним сделаешь? Я стану — и он станет, я пойду — и он следом. Вот я повернулась к нему и говорю: «Ну, чего, дурачок,

пристал? Чего тебе от меня нужно?» А он — прямо как уразумел, что я с ним разговариваю, и не то чтобы брехнул в ответ, а вроде того: хамкнул, как муху поймал. У меня в кошелке батон был. «Ну-ка, мол, дай-ка я его угощу...» Отломил горбушку, кинула, а он, верите ли, словно того и ждал: цап ее да в кусты... Ну, собака и собака! А еще дикий зверь называется...

Вот какие в этих местах прямо-таки ручные звери, ничего не боятся. И ведь не какая-нибудь у нас нехоженная тайга, совсем нет! Очень даже шумно бывает на реке и в лесу, а особенно по субботам и воскресеньям. Столько народу из города понаедет — на моторных лодках, на собственных легковушках, на автобусах — ну, прямо тысячи народу! Тут и баяны, и гитары, тут и пляски, и песни, и чего только нет! И все бы это хорошо, почему не повеселиться, не отдохнуть на природе? Но есть и у этого веселья одна очень плохая сторона: водка, вино текут здесь разливанным морем, и часто от этого человек забывает, куда и зачем он приехал, и вместо благодарности лесу, воде и траве, вместо низкого поклона чудесной природе человек оставляет по себе дурную память: загаженную, притоптанную траву, осколки разбитой посуды, поломанные, примятые кусты и груды всяческого мусора.

И вот с понедельника начинают солнце, ветер и дождь прибираться на реке и в лесу, мыть, чистить, разглаживать и к субботе все как есть приберут, сделают, как и прежде было. А в субботу — опять понаедут, и снова начинается сказка про белого бычка.

— Разум с дурью борются, — очень верно сказал Харитоныч, — и в чью тут пользу ноль — само собой разумеется: природа пока одолевает, а вот как дальше обернется... Воздух тут чистый, и жизнь крепкая. У нас потому и старики — знаете, какие долговечные! До ста годов протянет и не охнет...

Харитоныч засмеялся, поглядел на солнце.

— Ну, бывайте здоровы, подаюсь ко двору, а то старуха заругается, она у меня — о! — Он восхищенно покачал головой, и, оттолкнувшись от берега, закончил: — Крепкая, крепкая у нас жизнь!

